

(Окончание. Начало на стр. 9)

Но что-то не веет от этого хэппи-энда счастьем: Шалая (шалый? гуляющий? блуждающий?) не нашедший себя?) ждет та же разлука, то же море, та же каторга, тот же план... По-видимому, из-за этой тоски и не могли смириться с романом Владимирова его критики и гонители, а автор тем временем выходил на прямую, ведущую его к вершине своих усилий — к «Верному Руслану».

Выход автора «Руслана» за черту советской (и антисоветской) тематики не был ошечен в конце 70-х годов. Повесть читали как антисталинскую, укладывающуюся в прокрустово ложе диссидентской литературы. И, наверное, только сейчас может открыться ее трагическая глубина. Ибо сегодня сознание не отдельного философа или поэта, а мука подавляющего числа людей в России поставила перед ними роковой вопрос: что есть свобода?

В стационарном буфете сидят за столом охранник и бывший заключенный, они говорят о лагерном архиве, который вывезен из зоны для «вечного хранения». Зачем? А для того, чтобы «в любой час можно каждого поднять, полное мнение составить. У кого чего за душой, и кто куда пошел, если что». «Ты временно освобожденный, — говорит хозяин Руслана зеку. — Понял? Временно тебе свободу доверили».

Руслан сторожит этого бывшего зека в доме, у дома, он следует за ним повсюду, не спуская с него глаз. Эта почти параноидальная служба Руслана — после подлинной лагерной — уже болезнь, а не героическое самостояние. Руслан пасет и сторожит тень своего прошлого. И зек знает, что Руслан навсегда останется на своем посту и как привязанный будет ходить за ним до тех пор, пока опять не вобьют столбы, не натянут проволоку и прожектор с вышек не осветит воскресшую «зону».

«Запах страха» — вот как суммирует Руслан запахи, исходящие от «дуэногих». Зеки боятся конвоиров, конвоиры — подконвоиных. Кто отправил их этим ядом? Почему так устроен мир? Ответ Руслан слышит из уст зека: «Ну, без креста же они, вертухаи! Без креста родились, от невенчаных...»

ОДИНОЧЕСТВО И СВОБОДА

Я познакомился с Георгием Владимовым, когда «Верный Руслан» уже существовал как рукопись, но не существовал как книга: мне он был пе-

те вниманья, маэстро! «Колей-Моцартом», Владимир иронически вознес на одну высоту и музыке подавления, и моцартианство противостоящего ему безстрашия. Ведь слежка в этом рассказе поднята до уровня игры, что, с одной стороны, усиливает поэтический эффект, с другой — страшное делает нестрашным, грозное смешным. Эта шутовская поэзия сыска, антидетектив, клоунада подслушивания и подглядывания заканчивается комической дракой, достойной арены цирка. Вместо благородной сатиры Владимир создал комикс, разыграл водевиль, напаяв на своих преследователей дурацкий колпак.

Вообще там, где Владимир смеется, где он отдается стихии игры, он очень хорош. Жаль, что его веселая пьеса «Шестой солдат» (1981) не увидела свет рампы тогда, когда была написана. Этот бурлеск одинаково бы пришелся по душе и тем, кто пожелал бы увидеть в нем антисоветский мотив, и тем, кто в творениях искусства ценит прежде всего искусство, прихоть фантазии, способной придать предмету изображения не один и не два, а множество смыслов.

Героическое мешается в «Шестом солдате» с комическим, и чем безудержней смех, чем ниже, кажется, он опускает нас на грешную землю, тем выше взмывает лирическая тема, тем чище представляют высокие чувства, тем сильнее берет за сердце пафос взлета.

В пьесе речь идет ни больше ни меньше, как о гибели мира. Солдат говорит крестьянину, который называет его «злопаятным»: «Если наш мир все-таки не погибнет — его спасут злопаятные люди. Которые не прощают зла». Признание, без сомнения, для автора очень личное. Вероятно, именно к таким людям он относит себя. Злопаятство здесь — не злая память, а память, которая помнит все, это память писателя.

Живя уже полтора десятка лет в стране, где до сих пор выплачиваются пособия евреям, отцы и матери которых были сожжены в газовых камерах, Владимир не может не думать о том, надо ли прощать или не прощать зло. Страна, покрытая сетью превращенных в музеи (а не несенных, как у нас) лагерей, каждый день вспоминает позор своего прошлого: ее память кровоточит, ибо не выравнены бульдозером и не закопаны в землю Дахау и Бухенвалды.

На съезде свободных немецких авторов я услышал вопрошающие голоса: может, пора закрыть

ду, форсированно Днепр и взятия Киева в 1943-м.

Почти одновременно с «Генералом и его армией» писался и печатался другой роман — трехчастное повествование Астафьева «Прокляты и убиты», где действие происходит в тех же местах и в то же время. Судьба неумышленно поставила их рядом, но стало ясно, что две эти писавшиеся по разные стороны границы вещи соединяются, как части большой картины, ибо роман Владимирова — по преимуществу «генеральский», повествование же Астафьева — роман «солдатский». Более того, те обвинения, которые Астафьев бросает от своего имени и от имени солдата Ставке, штабам и полководцам, Владимиром реализуется в художественном тексте.

В одном из писем Виктора Астафьева, являющемся как бы комментарием к его роману, есть пассаж о Жукове: «А между прочим, тот, кто до Жукова доберется, и будет истинным русским писателем... Ох, какой это выкормыш Отца и Учителя! Какой браконьер русского народа!» Владимир добрался не только до Жукова, но и до других генералов, которые, по выражению того же Астафьева, «сорили солдатами, как песком».

Кобризов у Владимирова воюет иначе, думает иначе, хочет жить по иным заповедям. Но таких, как он, единицы. И в этом трагизм владимовского героя. Вновь выбирает Владимир себе в герои романтика, человека чести, но на этот раз им является русский офицер.

Впрочем, автор романа не оставляет вниманием и противную сторону, то есть немцев. Он и их хочет увидеть без шор, как видит он генерала Гудериана, отдавая должное его храбрости и уму. Гудериан не стесняется сидеть за столом Льва Толстого в занятой его танками Ясной Поляне и писать на этом столе письма жене и приказывать по армии. Но Владимир поднимается и до осознания трагедии русского войска, которое, воюя против Гитлера, объективно воюет за Сталина. В романе нет этой прямой аналогии, но ход мысли автора неизбежно приводит к ней. Действительно, для наших солдат позади Сталин, а впереди — его германский двойник.

«Железный Гейнц», как зовут Гудериана, у Владимирова очеловечен. Он сочувствует русским, чьих близких расстреляли, отступая из Смоленска, сотрудники НКВД. Он, почти как и Кобризов, не хочет быть палачом ни своих, ни чужих солдат. Очеловечен в романе и генерал Андрей

ПОРТРЕТ МАКСИМАЛИСТА

редан самим автором в виде бледно отпечатанных машинописных страниц. Владимир и его жена Наташа жили в Филях в маленькой двухкомнатной хрущобе, там и происходили наши встречи. В более узком кругу помню Андрея Тарковского, Феликса Кузнецова. Владимир тогда согласился на диалог с Кузнецовым в «Литературной газете», чтобы после долгого перерыва появиться в печати и хотя бы таким образом защитить или протолкнуть в издательстве «Три минуты молчания».

Тогда мы еще могли в таком составе собираться вместе, но через три-четыре года это уже стало невозможно: пути, как назвал его Феликс Кузнецов, «четвертого поколения» разошлись — одни вручили свою судьбу Службе (но не будучи так преданны ей, как верный Руслан), другие — Анти-Службе, третьи скрытой борьбе предпочли труд за письменным столом. Владимир в 1983 году был выдворен за границу. Этот дьявольский прием — оставить писателя на свободе, но отправить его за кордон — если и не сломал, то покалечил не одну жизнь. Несколько десятков из числа талантливейших людей выбросили туда, где их силы и их дар были никому не нужны. Владимир очень скоро убедился в этом: сытый Запад принял их как новенькое, а потом отгрынул как старенькое. Одним из первых это осознал Солженицын: его речь в Гарвардском университете, где он бросил перчатку религии обогашения, не пробудила, а лишь ожесточила покровителей русских изгнанников в Европе и Америке. Время тучных коров кончилось, настало время коров тощих.

Мне кажется, особенно тяжело было в этих обстоятельствах Владимиру. Прежде всего из-за его безоглядной преданности писательству. В этом смысле он стоит особняком среди фигур эмиграции третьей волны. Он поселяется не в Париже, не в Лондоне или Нью-Йорке. Его не видно ни на конгрессах, ни на симпозиумах, ни на пресс-конференциях, ни на университетских кафедрах. Хотя в отличие от собратов по изгнанию он — критик и мог бы читать курсы лекций по русской литературе, ибо знает предмет. Но, за редкими исключениями, он этого не делает.

Кормясь нечастыми выступлениями на радио «Свобода», перепечатками своих прежних книг, он погружается в архивы, в чтение документов о второй мировой войне и за несколько лет заканчивает еще один факультет — факультет по специальности «Русская история 1941—1945 гг.».

Его служба на посту главного редактора «Граней» длилась недолго. Человек, никогда не принадлежавший ни к одной из партий, Владимир не хочет покоряться идеологической дисциплине НТС. Уход из «Граней» окончательно определяет его образ жизни, который нельзя назвать никаким иным словом, кроме слова одиночество.

Как и его герои, Владимир — одинокий волк, чужающийся стаи, стайного мышления и стайных инстинктов. Одиночество помогает собирать силы в кулак, энергию в пучок, но оно и томит, и обособляет, и вырывает писателя не из процесса (если иметь в виду литературный процесс), а из быстро меняющейся жизни. Чувствовать, как волны этого прибора бьются о стены твоего дома, писателю необходимо.

В рассказе «Не обращаешь внимания, маэстро!» (1982) есть фраза: «Я думаю, что книги немножко по-другому читаются, если знаешь, что автор живет не на Азорских островах». Это слова Владимирова о себе. И они сказаны тогда, когда чекисты просматривали окна его квартиры, подслушивали его разговоры и держали под надзором всех, кто приходил к нему в дом. Но все же то была жизнь на родине, и противостояние власти подзаряжало душу, гнало ток и давало стимул к писанию. На Западе этого электрического напряжения не было. Никто не вскрывал почтового ящика, не пугал угрожающими звонками, не цапал железом кузов твоего автомобиля.

Даже отрицательные свидетельства внимания к тебе в России говорили, что ты есть, ты занимаешь свое место, что ты нужен, как ни парадоксально это звучит, ты делаешь дело и получаешь отклик. Для русского писателя, привыкшего творить с пользой, это необходимо. Писать в пустоте разряженного воздуха Запада, где быстро гложут все звуки, почти пытка.

Может, поэтому эмигрантский период для многих литераторов третьей волны — эпоха спада, снижения, размагничивания творческого поля. Ведь все лучшее написано дома, когда топор цензуры висел над их головами. «Архипелаг ГУЛАГ» и «Один день Ивана Денисовича», «В окопах Сталинграда», «Семь дней творения», «В поисках жанра» и «Ожог», «Приключения солдата Ивана Чонкина». Каждая из этих книг была прорывом в колючей проволоке советской литературы. Были сделаны «лазы» и «проходы», как пишет Владимир в «Верном Руслане». С вышек еще стреляли, лагеря не были ликвидированы, и в этом броске был риск, была пьянящая радость жертвенности, был высокий звук.

Назвав кагэбэшника в рассказе «Не обращаешь



Ясная Поляна и генерал Гудериан.

эти страшные музеи, эти выставки людоедства? Старшее поколение понесло свою кару, но почему должны испытывать стыд молодые, которые не повинны ни в чем, кроме того, что родились в Германии? Вопрос не нашел поддержки. Завтра он будет задан еще громче, и немцам придется решать, «злопаятная» они нация или нет.

Что же касается нас, то мы уж точно не злопаятны. Русское сердце отходчиво, лишь история, как сказал Карамзин, злопаятней народа. Но если память немцев помнит зло, совершенное по отношению к другим народам, то владимовская мысль о злопаятстве должна быть нам во сто крат ближе: мы сами уничтожали себя. На лагерных вышках стояли крестьянские дети, отцов которых согнали с земли и сгноили в Сибири, и они мстили вчерашним комиссарам, уничтожавшим крестьянство.

Вот почему от повести о караульной собаке до романа Владимирова «Генерал и его армия» (1996), написанном в Нидерландах, — один шаг.

Роман можно назвать историческим, хотя события, в нем описанные, еще жгут память. Прошло пятьдесят лет со времени окончания войны — тот срок, который был дан судьбой Толстому, чтобы описать 1812 год. С высоты этого отдаления, как с Поклонной горы, откуда когда-то было видно всю Москву, Толстой увидел то, что не могли увидеть участники и свидетели тех событий. Он бросил орлиный взгляд на историю, не придавая значения педантичной точности фактов. За неточности Толстого укоряли, говорили, что он не так поставил полки и пушки, не так описал Бородино. Получалось, что в «Войне и мире» нет правды действительности, а есть лишь правда автора. Но правда автора стоит над правдой реляций и документа. И кто знает, что такое действительность — маневры войск, тактика атаки и контрудара, даты батальи и списки убитых, или еще и то, что думали и чувствовали в сражении — или перед ним, или после него — каждый солдат, каждая живая душа, оставаясь наедине с собой и с Богом.

Тяга Владимирова к Толстому, к толстовскому масштабу очевидна. Она открыто прокламирована в бесчисленных ссылках на «Войну и мир», в сопоставлении чувств героев Толстого и героев романа «Генерал и его армия».

Толстовский взгляд на вещи — на Бога, природу и общество — далек от взгляда Владимирова. Владимиру близок толстовский анализ человека, толстовская социальная критика, толстовская ставка на народ, на «низы» войны, противопоставляемые «верхам».

От отдельной жизни, от частной коллизии, от героя-одиночки, в пределах короткого отрезка времени пытающегося понять себя, Владимир должен был перейти к массовым сценам, ко множеству людей, к пространству войны, которое нельзя охватить в маломформатной прозе. Переход от этой прозы к роману требовал недюжинных знаний, богатства фактов, обновленного мышления, меняющего свои тактические приставки на стратегические. Уже одна попытка встать над тем, что ты писал раньше, есть акт отваги. Надо было подняться не только над историей, но и над собой.

Владимовский роман вступал в спор с советской генеральской мемуаристикой, которая если и выдавала какую-то правду о войне, то это была не более чем полуправда или еще меньшая ее часть. Таким спором стало изображение судьбы генерала Кобрисова (главного героя романа), генерала Власова, событий вокруг обороны Москвы в 1941 го-

Власов. Владимир сравнивает его судьбу с судьбой святого мученика Андрея Стратилата...

Ни в одной стране и ни на одной войне не было такой жестокости по отношению к собственному народу. И, пожалуй, не было такого народа, который согласился бы все это терпеть. Война за свободу оказалась и войной за новое закабаление. Оказавшись в историческом капкане, народ должен был выбирать — быть ли ему свободным от Гитлера или свободным от Сталина. Он, защищая свой дом, выбрал первое. Загадка, конечно, в народе, но и не только в нем. Загадка в истории, к тайне которой еще предстоит приблизиться литературе.

Русские в 1812 году сожгли Москву, французы, когда армия Александра I подошла к Парижу, и не подумали этого сделать. Они не сделали этого, и когда в Париж в 1940 году вступил Гитлер. Разные нации, разные национальные характеры... И когда Гудериан, перечитывая в Ясной Поляне «Войну и мир», останавливается на эпизоде, где Наташа Ростова приказывает выгрузить с подвоз барское добро, чтобы положить раненых, он думает, что это Наташа объявила войну Наполеону, а не Кутузову.

Выступая на 35-й посевской конференции, Владимир сказал: «Необходимо говорить не только другую сторону, противоположную советской правде, но говорить всю правду». Все, написанное Владимиром, и в том числе его последний роман, есть борьба с «советской правдой» и движение в сторону «всей правды».

Борьба с «советской правдой» отняла у писателей поколения Владимирова много сил. Приобретая, в этой борьбе приходилось и терять. Усилия духа тратились прежде всего на отрицание, на критику, на противостояние «всей правды» «правде советской». И при этом «вся правда» теряла в своем объеме. Ибо ее максимум не исчерпываются отрицанием, критикой и осмеиванием советской правды. К тому же «вся правда» может легко обойтись без сопоставления с «советской правдой» — ей это кривое зеркало, в которое она могла бы вечно и самолюбиво глядеться, просто не нужно. Конечно, много значат не только независимость политической и личной, но и историческая, философская, бытийная, если понимать под этим словом не быт, а бытие. Наверное, для этого нужно быть свободным от рождения, как был свободен Толстой, сумевший в «Войне и мире» подняться над физически осязаемыми фактами. «Вся правда» — это не правда всех фактов, а правда отбора, сгущения и переработки их в мастерской творца. Литература, писавшаяся, по выражению Владимирова, «на Азорских островах», совершив прорыв ко «всей правде» и неся потери на этом направлении удара, вынуждена была пережить и еще одну потерю — отставание от хода часов на родине.

Отсюда драма тех, чьи книги оказались бессильными перед лицом стремительно открывшихся архивов, отсюда драма многих, кто, делая честно свою работу по очищению литературы от «советской правды», заканчивал ее уже тогда, когда «советская правда» рухнула в тартарары. Это драма, но это и победа. Ибо, не будь Георгия Владимирова и таких, как он, мы, может быть, еще неизвестно сколько времени плутали бы во тьме лжи.

